

18+

Франциска Эрмлер

АРСЕНАЛ

АЛХИМИЯ РИЖСКОЙ ПЕЧАТИ

РИЖСКИЙ
ДЕТЕКТИВ

Франциска Эрмлер Арсенал. Алхимия рижской печати

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=56531179

SelfPub; 2020

Аннотация

Знакомство с героями рижского детектива – студентом Андреем Ванагом, скульптором Александром, адвокатом Салевичем. Основана премия для рижских художников «Рижская печать», но на открытие выставки номинантов куратор не является, один из номинантов погибает при загадочных обстоятельствах, у всех на глазах упав с крутой лестницы, да и сама история основания премии и номинирование именно этих художников окутаны тайной, и задать вопросы некому...

Содержание

Камни

7

Конец ознакомительного фрагмента.

64

*Восходит солнце огибая сосны
что к озеру стоят вплотную
день прожив падает оно в морскую глубь за горизонтом
нас оставляя в черной темноте страдать и ныть
так солнца отделяет друг от друга
ночь темная где есть лишь лунный свет
а влага что поила днем растила цвет
тут ночью остужает кровь и ноги сводит в лед
так Рига нас молотит души проверяя
есть ли там хлеб добротный из чего ей печь
чем накормить тех кто еще к дороге зреет
и дух чей вынужден здесь будет ночевать и тлеть*

О

трыв

Пора. Пора уже. Я всматриваюсь в стрелки часов. Пора. Время, когда перед самым закатом все краски вдруг вспыхивают ярче. Женщина, сидящая со мной рядом, напрягается. Ее губы шепчут слова молитвы, пальцы сжимаются, она вот-вот перекрестится. Я прикрываю глаза, отворачиваюсь. Начинают реветь двигатели нашего самолета, мы выезжаем на взлетную полосу, и я с неожиданной для себя самого нежностью беру соседку за руку, в глазах сорокалетней испуганной женщины читается благодарность.

– Спасибо! – пытается прошептать она, но пересохшие губы не издают ни звука. Я снова зажмуриваюсь. Все сжимает-

ся до размера точки: гудит мотор самолета, рижские башни раскачиваются, точно пасхальные качели, лицо матери, потемневшее от подозрений, вдруг озаряет улыбка, отец, движимый внезапным порывом беспокойства, протягивает мне руку, которая превращается в кисть госпожи Вилмы, изящным движением наливающую в чашку черный дымящийся чай; испуганное, по-детски заплаканное лицо Ясины исчезает за обрызганными грязью дверьми трамвая, смыкающимися с жестким машинным скрипом; какие-то холсты, фарфор, мебель – все вдруг закручивается гигантским волчком, обращается в зонт, взмывающий ввысь. С яблоневых ветвей осыпаются плоды и падают в траву возле нашего дома в Межапарке, в маслятах копошатся червячки, испуганно вскрикивает бабуля Лилиана, поскуливает наш лабрадор Джерри... и тут все ломается, сжимается, становится размытым и в одно мгновение выплескивается. Я уже в воздухе – свободный, опустошенный и... до горечи одинокий.

Голос женщины, сидящей рядом, вновь обретает звучание и начинает бубнить и бубнить что-то, потом наконец стихает. Моя рука, которую она выпускает, безвольно падает мне на колени. Женщина, благодарная за поддержку, заботливо укрывает меня моим же свитером и оставляет меня в покое. Я погружаюсь в дремоту и за миг до того, как совсем уснуть, успеваю увидеть внизу то, что называют Ригой. Сгусток уплотненной ткани, из которого метастазами тянутся серые шоссе, стараясь захватить последние зеленые остров-

ки парков. Точно такой сгусток, очень похожий на тот, что выел желудок моего отца. Жадные клетки, разросшиеся в его теле, захватили и высосали все живое. Такой же точно алчный, неумолимый злодей пожрал и легкие госпожи Вилмы. И рядом с этим спутанным серым узлом – море черноты, большая вода, темная и пугающая своей непостижимостью и необъятностью, куда не уставая несет свои волны Двина.

Но все продолжается только миг – солнце проваливается в мглистую дыру между туч, и картина моментально меняется. Рига вспыхивает всей мощью электрического освещения, преобразившись в золотой клубок сияющих ниток, которыми вспыхнул минуту назад казавшийся неживым асфальт. Нити тянутся к очагам тьмы – недавним зеленым островкам, еще секунду назад казавшимся последними бастионами живого. Зато черная бездна залива не утратила своей мощи и теперь выглядит еще более мрачно и устрашающе. Вид сиротливых, затерянных в безбрежности черноты огоньков кораблей, ожидающих в рейде своего захода в порт, лишь усиливает чувство потерянности в невесомости. Свет преображает. Тьма преображает. Что есть истина? И кто есть мы сами? И для чего, для чего мы создаем эти клубки света, клубки тьмы, чтобы затем умирать, хватая ртом каждый глоток свежего воздуха, забываясь, ища кратковременного спасения кто в морфии, кто в богеме? Милосердные облака прикрывают все. Мы оторвались. В очередной раз оторвались от земли.

Камни

Мой отец поступил умно, умерев еще до того, как началась вся эта морока с капитализмом. Он умер как честный советский инженер. Его поминки проходили в типичном кафе того времени, конечно, не лишенном определенного рижского шарма. Мать, опрыскавшись духами *Chanel № 5*, добытыми по огромному благу, принимала соблезнования и время от времени слабо улыбалась *товарищу по работе*, с показной услужливостью хлопотавшему, заботясь, чтобы блюда вовремя подавали и убирали, а опустошенные бутылки заменяли полными. В его жестах читалось что-то заискивающее и холопское, трудно было определить, где заканчивалось преклонение перед вышестоящей и начиналось ухаживание.

Оскар, брат отца, с женой, госпожой Вилмой, сидели в конце стола и казались чужими на этом пире во время чумы, где присутствующие давно позабыли о причине встречи, увлеченные дегустацией деликатесов, наслаждаясь иностранными винами. Они были единственными представителями родни со стороны отца: всех остальных давно отсеяли по причине их бесполезности. Но и эти двое не вписывались в картину хмелеющего застолья, которое медленно, но неумолимо возвращалось к бурлящей мути страстей. Родные отца, чем-то напоминавшие серые ледниковые валуны, не походили на остальных, они держались обособленно в этой

начинающей размякать компании. Все больше и больше они напоминали камни, характерные для местного ландшафта, которые ни расколоть, ни убрать с поля. По правде говоря, хотя моя мать и поставляла госпоже Вилме французские духи и итальянскую обувь, эти двое так никогда и не признали избранную моим отцом жену, теперь уже вдову. По их мнению, моя родительница была простовата и являла собой типичного «работника торговли». Да и без слов не оставалось сомнений, что они видели в моей матери лишь особу, которая испортила жизнь отцу. Их неприязнь осознавал даже я своим детским умишком, будучи полностью поглощенным мальчишескими проделками. К тому же мать после каждого их визита кипела негодованием и в выражениях не стеснялась. А вот меня дядя с тетей, наоборот, любили: наверное, потому, что своих детей у них не было. Иногда они брали меня на дачу, в видземскую Юрмалу. Как сейчас вижу: мы на похоронах сидим напротив друг друга, я, десятилетний пацан, уминаю мороженое, глядя на тетю Вилму и дядю Оскара. Они неподвижны, с очень прямыми, словно высеченными в камне, спинами, глубокие, как мне тогда казалось, старики, не притрагиваются к еде...

– Заглядывай как-нибудь в гости! Ты ведь теперь единственный продолжатель рода! – Было видно, что дядя Оскар обдумывал эту фразу на протяжении всех поминок, как ясно было и то, что после смерти отца семейные связи вряд ли будут поддерживаться по инициативе моей матери. И они

поднялись, чтобы через минуту раствориться в дверях кафе.

Я вспомнил о приглашении ровно шестнадцать лет спустя, когда мать, успешную бизнесвумен, нашли застреленной в ее гамбургской квартире вместе с любовником, моим ровесником.

Мать была миловидной женщиной с пышными формами, которые сохранила, несмотря на новые стандарты красоты. В этом явно был и здравый смысл, потому что подобное постоянство в то время, когда люди в лучшем случае торговали мечтами, а в худшем – просто позитивным мышлением, не имея к нему ни малейшей склонности, внушало доверие. Сколько себя помню, она излучала энергию, деловитость и не забывала о макияже. Меня растила бабушка. Она следила за тем, чтобы я был накормлен, а моя одежда – чистой и выглаженной. Бабушки не стало вскоре после смерти отца, и ее место заняла домработница Лилиана, такая же хлопотливая и заботливая. Вскоре я начал звать ее просто *бабулей Лилианой*. Она внесла в наш дом свой аромат, преображая все, к чему прикасалась. Поначалу она даже пыталась нас одевать и стричь. Но поскольку их с матерью вкусы катастрофически не совпадали, произошла пара словесных перепалок, во время которых мать четко обозначила место и обязанности Лилианы, и та сосредоточила свою деятельность исключительно в пределах кухни.

– Подстригаю морковку и начесываю картошку, – отвечала она, вспоминая свою работу гримером и парикмахером,

когда я, вернувшись из школы, спрашивал, чем она занята.

Если говорить про мои отношения с матерью, то с ней я всегда был вежлив, не более того. «У тебя как, все ОК?», «Как долетела?» – и так далее. Своих любовников она неизменно представляла мне как *помощников*. Помощником назвала и последнего. Он мне даже понравился. В детстве мы с ним играли в хоккей в одной команде. Я был вратарем, а он нападающим. Все считали, что у него хорошо получались неожиданные обманные подачи. Поэтому его постоянно блокировали и закрывали. Но меня ему обмануть не удавалось, потому что я раскусил, что он, несмотря на то что был нападающим, не старался создавать свою траекторию, а только придавал другой масштаб уже полученной подаче. Точно так же теперь судьба его, со свойственной ей иронией, провела линию подачи через жизнь моей матери, потому что сомнений, что именно она, а не он, была целью этого убийства, не оставалось.

Похороны матери прошли тихо-мирно. Я пришел на них один – не приводить же с собой кого-нибудь, на чьем плече можно выплакаться. Тем более женщину. С женщинами я вообще предпочитаю говорить поменьше. Может быть, потому, что моя сексуальная жизнь началась в шестнадцать лет с проституткой, к которой меня привела мать, больше всего боявшаяся, чтобы я под воздействием гормонов не вляпался в историю с девицей из порядочной семьи – «домашней девочкой», как она таких называла. Меня она родила в сем-

надцать. Отец познакомился с ней, когда служил на Дальнем Востоке. В увольнении он встретил ее на железнодорожной станции – девушка опоздала на поезд, благодаря чему вышла замуж и переселилась в Прибалтику. Теперь они будут покоиться по соседству: я похоронил мать, согласно выраженному когда-то желанию, рядом с мужем, несмотря на их религиозные противоречия. В другом государстве такое было бы невозможно, но только не в Риге, не на Лесном кладбище. Отец был из латгальских католиков, которые после войны перекочевали из своей деревни в Ригу. А мать лет пять назад, как я понял, после того как удачно провернула какую-то подозрительную сделку, приняла православие. Я же так и остался некрещеным и латышом. И теперь, стоя у могилы родителей, я задумался, из каких соображений меня в свое время отдали в латышскую школу. Должно быть, на этом настаивал отец. Но единственный человек, с которым я в нашем доме разговаривал по-латышски, была бабуля Лилиана, теперь стоявшая напротив меня с другой стороны могилы, обтянутая черным кружевным платьем, из которого она опять выросла. Лилиана старательно крестилась, привычным движением поправляла венки, пристраивала цветы, беспрерывно повторяя одну и ту же фразу: «Такая молодая и померла, а я, старуха, все живу и живу!» Я холодно взглянул на нее, и она стихла, продолжая нервно комкать сухой платочек.

Когда яму засыпали, с другой стороны отцовой могилы взору открылась могила дяди Оскара. Значит, он умер, так и

не повидав единственного продолжателя своего рода. В изголовье могилы вздымался камень – редкого зеленого, даже оливкового цвета гранит. Глядя на него, я вспомнил, как дядя Оскар учил меня различать камни. Он даже подарил мне коллекцию образцов камней с собственноручно приклеенными этикетками. Одна сторона у этих образцов была отшлифована, а другая сохраняла естественный вид.

– Мастер должен узнавать камень, еще когда тот лежит в земле. Отшлифованный узнает и лавочник, – он мне оглашал свой очередной постулат из тех, которые он как бы совершенно безобидно, но настойчиво старался заложить в фундамент строения моей жизни.

Позже, когда я уже был подростком, эти камни таинственно исчезли с моей полки в книжном шкафу. Бабуля Лилиана утверждала, что их стащил мой одноклассник, бывавший тогда у нас в доме. И сейчас, глядя на гранит, я вынужден был признать, что тетя Вилма отнеслась к увлечению мужа куда серьезней, чем я. Надгробный камень изысканного оливково-зеленого цвета, должно быть, найти было нелегко, очевидно, ей пришлось приложить немало усилий. Я догадался, что гранит привезен с Украины.

Шагнув ближе к надгробию, я прочитал надпись. Под датами рождения и смерти дяди Оскара было выгравировано имя госпожи Вилмы и дата ее рождения – для года смерти оставлено место, из чего я заключил, что в ней еще теплится жизнь, хотя и она пребывает в ожидании неизбежного. Ну

что ж, разумно.

Поминки на этот раз не были предусмотрены. Мы с адвокатом матери, тем самым «товарищем по работе», ассистировавшим ей на похоронах моего отца, опрокинули по сто граммов и расстались. Мать не оставила завещания. Однако в свое время она иногда вызывала меня, просила подписать какие-то деловые бумаги – у нас с ней были разные фамилии и разное гражданство, что для бизнеса матери иногда оказывалось полезным. Адвокат, придав лицу профессиональное выражение озабоченности и сочувствия, пообещал в течение ближайших недель разобраться с делами по наследству и дать мне знать. Больше говорить нам было не о чем.

Тогда я вспомнил о сухих глазах бабули Лилианы и ужаснулся собственной тупости. Я не сказал ей главное, что она ждала. Я набрал ее номер и сообщил, что для нее со смертью моей матери ничего не изменится. Пусть она только не забудет вовремя кормить Джерри, нашего лабрадора. На другом конце провода послышались всхлипывания: наконец-то появился повод увлажнить слезами тот самый сухой платочек.

В

стреча

На сороковой день, когда мы с Джерри приходим на могилу матери – ведь я не такой уж и неблагодарный сын, – там стоит госпожа Вилма. Спина ее все так же пряма, а выражение лица непроницаемо. По нему невозможно догадаться, узнала ли она меня спустя столько лет, ведь в нашу послед-

нюю встречу я был еще пацаном. Я здороваюсь, и госпожа Вилма отвечает легким кивком головы.

– Андрей, приходите ко мне на чай, – произносит она наконец, когда мы, постояв в молчании минут пять и понаблюдав за суетой Джерри, вместе направляемся к выходу. До сих пор не понимаю, какого черта я принял ее приглашение.

С госпожой Вилмой в тот краткий период детства, когда мы с ней виделись, я говорил исключительно по-латышски. В отличие от бабушки и бабули Лилианы, она живо интересовалась всем, что связано именно со мной, а не моим питанием и одеждой. Ей скорее хотелось знать, как варит мой котелок, вернее, что в нем варится, если, конечно, что-то варится. Ведь разница огромная – варится или просто булькает. И еще она не хотела меня приглаживать или подстригать, как моя мать, которую волновало единственно, чтобы в моей жизни ничто не вылезало за пределы нормы, особенно чтобы я не переступал черту, после которой начиналась уголовная ответственность. Как я теперь понимал, госпожа Вилма старалась нащупать меня во мне самом и для этого подергала все мои внутренние струны, остановившись на самых чистых звуках из тех, что ей удалось выудить.

Отведя Джерри домой, я спустя пару часов сижу у госпожи Вилмы в квартире, перегруженной всякой рухлядью – антиквариатом и живописью. Госпожа Вилма – искусствовед, поэтому все, что здесь собрано, создает особую атмосферу, для обозначения которой лучше всего подойдет слово «вдох-

новение».

Итак, я сижу на необычном, но неудобном кресле, потому что по тем же рецептам госпожи Вилмы собранная и отвечающая стандартам госпожи Вилмы мебель к комфорту не располагала – к удобствам тяготеют только мещане, то есть конченные люди. А в это время мой телефон с отключенным звуком раскаляется от звонков Евы. Евой зовут мою бывшую сокурсницу, стремившуюся принять самое горячее участие в моей жизни. И сейчас главным предметом ее забот стало мое успешное окончание занятий юриспруденцией, затянувшихся на семь долгих лет. Я позволял ей опекать себя, продолжая в одиночку посещать ночные клубы. Есть такие женщины. И есть такой я. С безудержным влечением к дайвингу – до сих пор он оставался единственным, что меня занимало, учеба в круг моих интересов не входила. Эту струну я нащупал самостоятельно, когда после падения железного занавеса и внезапно распахнувшихся границ мать меня первый раз отвезла в по-настоящему теплые и прозрачные моря. Так продолжалось до тех пор, пока мать, полгода назад заметив, что я хожу в шапке даже в теплую погоду, не затащила меня к врачу. Она с подозрением относилась к моим новым привычкам, а надеть на меня шапку даже в детстве в самые лютые морозы ей удавалось только с большим трудом, иногда – лишь прибегнув к телесным наказаниям. Доктор, исследовав мои уши, категорически рекомендовал бросить подводные развлечения, если я не хочу полностью потерять

слух. Пока я определялся с выбором, моя мать проявила явную односторонность и, в отличие от меня, постановила, что терять мой слух не собирается. Последовала черед ультиматумов, и среди них прозвучал самый мощный – она покончит с собой. Меня это поразило, потому что такую угрозу я слышал от нее впервые, и я сдался. Так я вернулся к изучению юриспруденции.

Госпожа Вилма наливает мне чай, чашку за чашкой. Когда одна чашка оказывается пустой, госпожа Вилма оставляет ее в сторону и, словно фея, извлекает из буфета новую и чистую. Я, непонятно почему, объясняю ей, что никогда не хотел стать юристом, что это было только идеей фикс матери. Закончив свой монолог, я, к собственному удивлению, объявляю, что собираюсь бросить университет и вообще наконец-то найти себя. Госпожа Вилма, пока я рассказываю, все время молчит. И вдруг, без всякого перехода, предлагает мне проводить ее на открытие выставки. И я, снова неожиданно для себя самого, без каких-либо колебаний соглашаюсь.

– Аусма уберет... – Госпожа Вилма указывает на стол, и мы, оставив груду чашек и пустых, и с недопитым чаем в творческом беспорядке, как художественную инсталляцию, выходим из дома.

Наше путешествие продолжается десять минут. В поездках по центру Риги единственная сложность состоит в том, чтобы найти парковку. Госпожа Вилма выбирается из моей потрепанной бежевой «хонды». Мать не покупала мне новую

машину принципиально. Началось все с того, что в меня с жуткой силой влюбилась Эльвира. У нее были большая грудь и вообще хорошее тело и море страсти. Она захлеб дышала, захлеб любила меня, как это умеют делать лишь женщины с сильной примесью Востока в крови. Но однажды, когда она была у меня, не успев отдышаться после очередного путешествия, домой вернулась мать. И Эльвира задала роковой, как оказалось, вопрос: «Когда же вы все-таки купите Андрею новую машину?»»

Мать попросила меня сходить за сигаретами, хотя на кухонном шкафчике валялся целый блок. Возвращаясь, в дверях подъезда я столкнулся с Эльвирой, взбешенной и растрепанной. «Настоящая ведьма!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы и с этими словами исчезла из моей жизни навсегда.

С матерью у меня после этого состоялся *серьезный разговор*, как она называла такое промывание мозгов. Она говорила, а я молчал. Помня о рассказах матери, что ее отец был золотоискателем, я так это и воспринимал – как тяжелую и монотонную работу, когда обнаружение самородка граничило с чудом. Подобных эпизодов, когда мать промывала мне мозги, было много, все они ушли в небытие, расплылись и расползлись, забылись начисто. Однако в тот раз разговор материализовался в ее решении: никаких новых машин мне не видать, девицы мои в начале знакомства обойдутся троллейбусом и дешевыми мотелями. Рекомендовалось, так ска-

зять, истинность чувств испытывать не разлукой и временем, а бедностью и дешёвизной реквизита.

Выслушав наказания матери, я продолжал возить своих девушек на такси в пятизвёздочные отели, ибо меня волновали не столько чувства, сколько качество матрасных пружин. Однако же из всех материнских советов в памяти моей отложился именно этот самородок, добытый в банальном сюжете с Эльвирой.

Госпожа Вилма, обутая в туфли на высоких каблуках, крепко держа меня под руку, идет со мной рядом. Когда тебе за шестьдесят, цокать на шпильках по булыжникам Старой Риги не так-то легко.

На голове у нее шляпка немислимой формы. Венчающие ее зеленые перья в точности повторяют цвет краев накидки. Вспомнив памятник дяди Оскара, я внутренне усмехаюсь: «Был ли этот оливково-зеленый выбором покойного каменотеса или все-таки женский каприз его благоверной?»

В целом госпожа Вилма напоминает и осанкой, и движениями персонажей немомого кино. Достаточно было бы включить ускоренную прокрутку нашего похода – и вот готовый фильм двадцатых годов прошлого века. Тетя неожиданно спотыкается, я вовремя ее подхватываю и вдруг соображаю, почему она до сих пор выглядит столь женственно. В своем почтенном возрасте госпожа Вилма сохраняет талию. Не помню, чтобы когда-либо видел таковую у матери, не говоря

уже о бабуле Лилиане. В этот миг мне почему-то становится настолько нехорошо, даже откровенно жутко, что, будь моя воля, я бы развернулся на 180 градусов и сбежал. Но я не разворачиваюсь и не сбегаю, а довожу госпожу Вилму до места. Так происходило всегда. Госпожа Вилма была и остается единственной женщиной, рядом с которой я говорю все, что хочу, а делаю то, что хочет она, но не я.

В

зойти на небо

Госпожа Вилма приводит меня к бывшему Арсеналу, где теперь находится выставочный зал. Двери его настежь распахнуты, мы входим, я слегка смущаюсь. Внутри – толпа народа. Люди обводят оценивающим взглядом каждого входящего. И к нам тут же обращаются десятки любопытных взоров. Эффект усиливают направленные на входные двери прожекторы и вспышки фотоаппаратов. Крутые широоченные ступени лестницы, изогнутой на середине, кажется, ведут прямо в небо. По лестнице спускается мужчина весьма представительного вида с барышней при полном параде, которая ему улыбается и заискивающе взмахивает конским хвостом прически, точь-в-точь как мой Джерри.

Дама в парике сомнительного качества подходит к госпоже Вилме и начинает что-то взволнованно шептать ей на ухо. А чуть поодаль от нее я замечаю Ясмину. Ладно, я этого еще не знаю, но ее в самом деле именно так и зовут. Ясмина, абсолютный эталон красоты, поправляет свои волосы и смеет-

ся. Смеется звонко и мелодично, так, что каждая нота ударяет мне прямо в сердце. В свои почти восемнадцать, с прямыми длинными волосами, с чем-то эксклюзивным из перьев и пуха вокруг шеи, поистине лебединой, она смеется, слушающая странноватого и причудливого типа, явно нетрезвого. Он тоже посмеивается, и нетрудно догадаться, что говорит ей нечто не слишком пристойное. Слипшиеся волосы торчат из-под его кепки, скрывающей, скорей всего, плешь. Ясмينا водит носком туфельки по полу и смотрит ему прямо в глаза. Госпожа Вилма отпускает мою руку. И меня начинает нести, как если бы меня подхватила внезапно отколовшаяся льдина, и, разумеется, уже через полминуты я обнаруживаю себя возле Ясмины. Спросить, который час, было бы глупо, но лучше идей у меня нет, приходится обойтись без вступлений, идти напролом. Спустя мгновение я уже знаю ее имя, знаю, что она внучка какого-то Эрглера и что вот-вот, прямо сейчас она должна произнести речь. А самое главное, что она – не художник и сама в таком обществе оказалась впервые.

Особняком стоит бородатый человек, которого, точно лепестки ромашки, окружают дамочки в туфлях на шпильках, прихорошившиеся, с намеком на элегантность. Среди них резко выделяется одна особь, явно инородное тело, не то колобок, не то бочонок в одеянии с черными лацканами, но, несомненно, принадлежащий к женскому полу, с красным лицом, на коем ясно читается: «Водочку употребляем еще перед завтраком». Именно это бесформенное чудо с очевид-

ными признаками разложения личности нарушает мнимую гармонию, царящую в кружке, где лицемерно демонстрируется восхищение, и является истинным дыханием искусства. Если подойти к этому с позиции госпожи Вилмы, то именно этот бочонок повышенного кровавого и греховного давления, готовый вот-вот лопнуть, и являет собой несущий жизненные соки стебель этой компании.

Бородач, центр этой вселенной, стоит рядом с ними, но как бы совершенно отдельно. Но и безо всяких пояснений очевидно, что их мир вращается вокруг него. Я неловко сторонюсь, пропуская даму с тростью, и чуть не спотыкаюсь, однако успеваю ухватить за руку Ясмину, и меня пронзает чувство, будто я вернулся в школьный шестой класс. Мне хочется кричать и прыгать. Ясмина вздрагивает, словно ее ударил невидимый порыв ветра, но она мгновенно овладевает собой, улыбается и, взяв меня за руку, ведет к картинам и выставленным перед ними странным чучелам.

– Идея премии принадлежит моему деду. Мы подшучивали, что он хочет заткнуть за пояс Нобеля, а он, представляешь, так рассердился, что чуть не лишил нас наследства! Он основал эту премию и... и умер полгода назад... – Ясмине надо собраться, чтобы закончить фразу, и ее серые глаза застит мгла, совсем легкий туман, но она ему не поддается и договаривает: – Но премия живет...

Бог знает, что это за премия. Но не могу же я признаться, что не знаю, куда и зачем пришел, а потому пытаюсь как-ни-

будь постепенно разобраться в происходящем. Из обрывков разговоров я наконец-то выясняю, что все тут собрались из-за премии, которая объявлена впервые и будет присуждаться раз в семь лет. И сегодня назовут лауреата. Основал премию владелец сети аптек Эрглер, недавно скончавшийся. Он прослыл большим знатоком искусства. В зале выставлены работы, претендующие на награду, но почему выбраны именно эти картины именно этих художников, никто толком не знает. Несмотря на такое небольшое замешательство, мероприятие стало событием, разворошившим и пробудившим весь этот змеиный клубок, который копошился тут в этот темный осенний вечер, и напряжение растет на глазах. Ясмينا с ходу мне жалуется, что совершенно незнакомые люди то и дело спрашивают ее, что к чему, пытаются выведать, что ей известно. Самое смешное, доверительно признается мне Ясмينا, что она и сама знает немногим больше других – дед передоверил все госпоже Майе Каркле, куратору выставки и распорядителю фонда, созданного специально для этой премии, а она до сих пор не появилась и не отвечает на телефонные звонки. Отец Ясмины уже отправился за ней.

Я еще раз внимательно окидываю взглядом собравшихся и убеждаюсь, что градус общего нетерпения растет стремительно. Как бы между прочим осведомляюсь о размерах премии. Ясмينا называет цифру и, ожидая моей реакции, замолкает. Но я остаюсь невозмутимым – деньги меня никогда не волновали, тем более чужие. Ясмينا после небольшой

паузы улыбается:

– Ты ведь не художник, правда?

Я киваю. Что тут особенно объяснять. Самое большое искусство – родиться в правильной семье. И нам обоим удалось это сделать.

Я рассказываю Ясмине о дайвинге, о Кипре, где застрял в последние годы, о средиземноморском «Титанике» – судне «Зенобия», к остову которого я не раз доставлял любителей острых ощущений. Затонуть при первом же выходе в море – для корабля судьба не самая обычная. Ясмине смотрит на меня, улыбается, и я готов потопить всю Непобедимую армаду, только бы она продолжала вот так смотреть на меня, с такой улыбкой.

Тем временем броуновское движение публики продолжается. Возвращается отец Ясмине, пятидесятилетний, презентабельного вида господин, с короткой стрижкой без единого седого волоска. Несмотря на непроницаемое выражение его лица, становится ясно, что его экспедиция не принесла успеха – он вернулся один. Волнение в зале уже доходит до крайней точки. Все затихают, когда госпожа Вилма словно нечаянно подхватывает меня под руку, и мы с ней плавно перемещаемся к сцене, и к нам, точно к магниту, тянутся еще семеро человек.

Среди них и та самая Кепка, пребывающая, точно водоросль, в постоянном движении, даже стоя на одном месте. Рядом с ним располагается бородач из недавнего ромашко-

вого кружка, в черном стильном костюме без галстука и в лаковых туфлях денди. Вот он мельком глядит на зрителей, но тут же отворачивается, так что фотографы, желавшие его увековечить, вынуждены приседать на корточки и всячески исхитряться, как если бы они пытались запечатлеть образ барышни, застенчиво прячущей свое лицо.

Бородач старается держаться на расстоянии от рыжеволосой женщины, облаченной в живописные не то лохмотья, не то бахрому, придающую и ее волосам вид распущенных ниток. Ее можно принять за городскую сумасшедшую, однако каждая деталь обносков на ней тщательно продумана, а выполнены они так искусно, что ее никак не примешь за обычного опустившегося офисного работника. Женщина же, напротив, пытается быть к бородачу как можно ближе. Но внезапно женщина замирает и, развернувшись ко мне, улыбается – так сердечно и искренне, что я волей-неволей должен ответить тем же, несмотря на то что улыбка обнажает бросающийся в глаза просвет, свидетельствующий о недостающей паре зубов в ее верхней челюсти. Станным образом это нарушение стандартов женской красоты делает ее более привлекательной. И неоспоримо доказывает присутствие личности, самобытной и независимой, точно как женщина-колобок придавала своим присутствием подлинность искусства кружку ромашки. К этим двоим слева подплывает рослая полнотелая женщина, темно-красные губы которой наводят на мысль о вампире, только-только оторвавшемся от проку-

шенной шеи жертвы. В свои тридцать с чем-то лет она явно взывает к вниманию представителей сильного пола. Вампирша подмигивает мне одним глазом, и по моей спине пробегают мурашки. Рядом с ней появляется хрупкого сложения, невзрачно одетый гражданин, серый настолько, что кажется тенью обладательницы темно-красных уст. К ним мелкими шажками приближается тощее, иссохшее существо с тростью, с грацией сломанной игрушки – то самое, с которым я несколько минут назад едва не столкнулся. Его, точнее, ее поддерживает молодая стройная особа, обритая налысо, с огромными глазами. Наряд ее составляют черные мешкообразные брюки, черная блуза и дорогие туфли, явно чужеродные в этом ансамбле. Последним подходит, точнее говоря, подкатывается к этой компании круглый, как бочонок, мужичок с блестящими щечками, ширина его брюк растегнута, однако подобные мелочи, видимо, его давно уже не занимают. Мы с госпожой Вилмой замыкаем фигуру на сцене, геометрическое определение которой дать затруднительно. Что не мешает фотографам ослеплять нас вспышками. Наступает тишина, и госпожа Вилма, окинув взглядом собравшихся, произносит лучшее, что можно сказать в такой ситуации: «Ешьте, пейте и наслаждайтесь искусством!»

Тем не менее толпа разочарована, по ней прокатывается ропот недовольства. Семеро избранных номинантов топчутся в растерянности, толком не зная, как себя вести. Журналисты набрасываются на госпожу Вилму.

– Скажите, каковы критерии, позволившие номинировать на премию этих, а не других художников? Почему именно Майя Каркла назначена распорядителем фонда? Вы знакомы с Положением о премии? Почему его держат в секрете? Почему награда названа «Рижской печатью»? Кто первый лауреат? Правда ли, что ему будет вручена специальная серебряная печать?

Госпожа Вилма с королевским достоинством молчит, не проронив ни слова, берет меня под руку и больше уже не отпускает, публика начинает потихоньку рассеиваться. Знакомая Кепка снова приближается к Ясмине. Госпожа Вилма обращается ко мне, точно к ребенку, мягким голосом и просит:

– Посмотрим все-таки выставку, а потом ты решишь, что делать. Что тебе делать со своей жизнью.

Я еще успеваю заметить, что Кепка отстает от Ясины и принимается суетиться у стола, складывает *канане* в прозрачный пластиковый мешочек – в таких продают овощи в супермаркетах, – и преспокойно забирает бутылку вина, заодно прихватив два пустых бокала, после чего возвращается, по-видимому собираясь продолжить разговор с Ясиной, но та уже успела раствориться в недрах зала. Однако его такое происшествие, как исчезновение возможного партнера, по всей видимости, не смущает, он разворачивается к крутому витку лестницы, ведущему в соседнюю часть здания, затем, словно на миг вспомнив о мероприятии, поворачивается и

виновато улыбается госпоже Вилме.

– Что искать цыпленку в скорлупе, из которой он только что вылупился! Шевелись и клюй! Музейщицы мне говорили, что там наверху освободили пустое помещение – будет хоть где глазам отдохнуть и взять разбег для нового взлета...

– И вот он уже карабкается по изогнутой лестнице. Снизу кажется, что Кепка ввинчивается в небеса.

– Он был ребенком и останется ребенком, даже если доживет до девяноста! – тихо обращается ко мне госпожа Вилма. – Хотя, откровенно говоря, дети они здесь все!

Мы идем смотреть, что они натворили на этой площадке, повинувшись своей страсти к игре. Теперь и я задаюсь вопросом: почему выбраны именно эти художники и эти работы, а не другие? За нами следует дама, очень зажатая, в очках, держа в руке надкушенное пирожное. Она ловит на лету каждое слово, произнесенное госпожой Вилмой. Тут моя тетька демонстрирует вершину светского воспитания. Она обращившись к нашей спутнице, смерив ее таким взглядом, что остаток пирожного выпадает у той из руки. От преследования можно оторваться, если пресечь его подобным взглядом.

Госпожа Вилма останавливается, осматривая объекты, которые я успел окрестить чучелами. Человекообразные фигуры, слепленные из пластиковых бутылок и мешков, вместо членов тела – надутые презервативы, мозги изображены при помощи вентиляторных решеток и бог знает чего еще.

– Живой, как ртуть. Вольдемар был и всегда будет живым,

как ртуть. Он исследует все подворотни и чердаки человека и покажет только то, от чего никак не отвертишься, хотя и не очень любишь об этом вспоминать, раньше он использовал для своих фигур бутылочные стекла, газеты и павлиньи перья, подобранные в зоопарке. Он говорил, что нет средств выразительнее, чтобы продемонстрировать ум современного гомо сапиенса. В советское время из-за этих самых газет им не раз интересовались «органы»; со временем кураторы научились прикрывать чем-нибудь безобидным крамольные части его творений. Однажды Вольдемара чуть не арестовали: он в театре, когда там должен был как раз открыться очередной съезд партии, вырезал из занавеса кусок темно-красного бархата! – В этом месте своего повествования госпожа Вилма ставит голосом жирный восклицательный знак. – Но потом его отпустили: было очевидно, что в политике человек ничего не понимает. Когда его вызвали объясняться, Вольдемар начал с того, что попросил партийного секретаря отдать ему свой галстук – видите ли, как раз такой колорит был необходим для его нового гобелена. Такой уж он, таким я его и вижу – в вечной кепке, кажется, приросшей к голове навеки, по крайней мере за те сорок лет, что я его знаю, не видела без нее ни разу. Если премию дадут Вольдемару, он профукает ее в три дня, все бомжи Риги, да что там, все профурсетки напьются вдрызг за его счет! Как раз таким образом он оприходовал свою госпремию. А в те времена за неделю промотать такую сумму было нелегко, можешь мне

поверить! Но для энергии Вольдемара пустить на ветер такую кучу денег – раз плюнуть.

Госпожа Вилма величественно кивает седой исхудалой художнице. Та, опираясь на трость, неподвижно стоит возле своих картин и с нескрываемым любопытством разглядывает проходящих. В профиль она напоминает какую-то болотную птицу. Картины за ее спиной не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему дню. Я узнаю на одном из холстов ивы, росшие в парке Виестура в мои школьные годы. Их спилили, когда я готовился к выпускным экзаменам. Три солнца сияют над головами радостных колхозников, срезанные цветы глядят из керамических ваз огромных форм, которые тоже остались в империи, теперь уже рухнувшей, а краски такие яркие и сочные, что кажется, будто водоразборная колонка шестидесятых годов, присутствующая на одной из картин, выкачала все соки из этой птахи, оставив ее сухой и бесцветной.

– Софья давно уже не берется за кисть, но все-таки, видишь, дожила до своей первой выставки, пускай и коллективной.

Седая женщина устремляет взгляд куда-то вдаль, губы начинают беззвучно шевелиться, словно она говорит с кем-то невидимым. Кажется, больше она нас не видит и не слышит. К ней подходит ее спутница – бритоголовая особа. София резко возвращается назад в выставочный зал, оживляется и улыбается, и тут я осознаю, что какие-то краски в ней все же

еще остались – в самой глубине зрачков легкие, едва различимые мазки.

– Это она вывела Софью в свет божий. Настойчивая барышня, пишет стихи. Года два назад появилась у Майи, куратора выставки, и объявила, что сестра ее бабушки – гениальный художник. И впрямь открыла для нас клад, ты ведь тоже видишь, какой она замечательный и редкий колорист. Ее талант не может не заметить даже тот, кто ничего не понимает в живописи. Радость цвета. София ее, эту экстравагантную особу в черном, кстати, вырастила, когда родители девочки погибли. София приходила и ко мне... – Тут госпожа Вилма меняется в лице. Мимо нас проходит Ясмина, и я чувствую, как в мой локоть вонзаются острые коготки госпожи Вилмы.

– Не теряй голову из-за этой девицы. Она смазлива, богата, но и только.

Мы движемся дальше – к суховатому, жилистому гражданину, похожему на бухгалтера. Все творцы, за исключением Кепки, казалось, теперь сами экспонировались возле своих работ. То, что судьба премии осталась неясной, их, очевидно, повергло в полное замешательство, и они, так и не поняв, за что выдвинуты в номинанты, держатся за свои работы, не то ограждая их от чужих суждений, не то желая услышать, почему именно эти работы отобраны.

А серый персонаж кажется продолжением собственных картин в трех реальных измерениях. Серые линии наложены

на бледно-розовый и белый фон, а в углу полотен теснятся блекло-золотые и серебряные символы – чередуются арабская вязь и китайские иероглифы – такие же я замечаю на его манжетах, которые выглядывают из-под рукавов пиджака. Лишь одна его работа резко выделяется из этого ряда – позолоченная свиная голова, правда, настолько стилизованная, что с первого взгляда затрудняешься определить, что это такое.

– Сандро побывал в Индии, Тибете и бог еще знает где, как они теперь это все делают, носятся по миру, как сумасшедшие... Я толком не понимаю, почему Майя определила его в изобразительное искусство, он вполне мог бы претендовать и на какую-нибудь театральную премию – настоящий лицедей! Каких только ролей не перепробовал в своей жизни! Организовывал кинофестивали, семинары по фэншуй, высаживал языческие священные рощи, хотя по образованию и основной профессии он, конечно, живописец. С одной стороны, он ведет откровенный разговор с судьбой, с другой – у него совершенное отсутствие образов в картинах. Искусство ради искусства – ты ведь тоже слышал про это течение аутистов в современном творчестве. Самовыражение ради самовыражения, без мастерства, без техники – голый протестантизм, где каждый чувствует призвание. У Сандро, конечно, в основе есть хорошая школа – мастерство не пропьешь и не раздашь. Но чувство ритма и внутренняя свобода – еще не причина заниматься эксгибиционизмом на верни-

сажах живописи.

К госпоже Вилме подходит Бородач, та самая серединка ромашки. Надо признать, что его харизма оказывает столь же мощное действие и на мою манерную родственницу. Она машинально отпускает мою руку и выпрямляется еще больше. Оказывается, и такое возможно. Госпожа Вилма благосклонно ему кивает и улыбается. Но Бородач изображает искреннее удивление, словно повстречал кого-то чужого и незнакомого, кого видит впервые в своей жизни и о чьем существовании даже не подозревал, что, учитывая их род деятельности, узкий круг рижского сословия живописцев и возраст, неправдоподобно. Он так растерян, что начинает заикаться, хотя со своими ромашками перед открытием выставки говорил без заминки. А я пользуюсь моментом, чтобы улизнуть. И вот уже через несколько секунд иду рядом с Ясминой в фойе, где столы с закусками и выпивкой напоминают пейзаж после битвы. Без умолку болтая, я, точно аптекарь, накапываю в ее бокал содержимое всех бутылок, на дне которых мне удастся найти хоть что-нибудь, пока он не наполняется почти наполовину. Все начинают медленно, но решительно, как при отливе, двигаться к выходу, жизненное пространство заметно освобождается, и я немедля заполняю его собой; мне помнится, что я даже пробую станцевать что-то похожее на «Яблочко» и совершенно забываю о госпоже Вилме, выставке и обо всем, потому что Ясмина смеется, глядя прямо в мои глаза. А когда мимо нас проплывает кружок

ромашковых лепестков, Ясмину развязным жестом выливает мною таким трудом собранное вино прямо на свое боа из перьев и пуха. Красная струйка стремительно стекает по ее платю на пол.

Мне до боли хочется прикоснуться к этой струйке, и я поднимаю руку. Но Ясмину, даже не заметив моего жеста, взрывается:

– Понимаешь, они... Они... эти лицемеры посматривают на меня свысока! Нет, они, конечно же, сладко улыбаются, преклоняясь, ведь я распоряжаюсь этим фондом, но на самом-то деле считают меня никем, потому что я не могу с важным видом выдать пару глупостей об этом обо всем! – Она всплескивает руками. – Ну да, я ничего в этом не понимаю, но и не вижу надобности что-то понимать! Я учусь на фармацевта, мне предстоит вести семейное дело!

Дикий крик прерывает ее на полуслове. Мы оборачиваемся и прямо на наших глазах по ступенькам той самой крутой лестницы, словно мячик, подпрыгивая и отталкиваясь на каждом выступе, катится вниз Кепка, то есть Вольдемар. На ступеньках остается кровавый прерывистый след. Я бросаюсь к подножью лестницы, где его кувырки прекращаются, и он, раскинув руки, остается лежать неподвижно. Кепка, слетевшая с головы, подкатывается к моим ногам. «Э, волосы-то у него будут погуще моих!» – проносится у меня в голове нелепая мысль. Останавливается и кровь, которая текла из пореза, – осколком бокала он поранил запястье. Левая ру-

ка судорожно сжата, из нее выглядывает голова серебряной змейки. Я наклоняюсь, чтобы проверить его пульс. Пульса нет. Я содрогаюсь – чтобы взойти на небо по этой лестнице, надо было с нее рухнуть.

Ясмина, стоящая рядом со мной, вскрикивает. Я поднимаю глаза и вижу, как наверху, там, где заканчиваются ступени, плавно закрывается дверь. Наступает тишина, к нам со всех сторон стекаются люди, но я все еще вижу перед собой лишь всклокоченные волосы и кепку. Поднимаю кепку и надеваю на голову мертвеца. Свою премию этот художник уже получил. Нашлась лишь одна королева, одна власть, одна в целом свете персоне, перед которой он снял свою кепку, – Смерть.

Л

опаются пузыри

Бабуля Лилиана приносит мне кофе и завтрак прямо в постель. Пухлой и заботливой рукой она снимает с моего одеяла одной только ей видимую пылинку. Как всегда, от нее едва ощутимо пахнет корицей.

– Джерри я уже выпустила!

После чего она привычным движением раздвигает шторы, и моему взгляду открывается осень, обыкновенная и в то же время необычная, ибо на этот раз я могу делать все, что взбредет в голову. Но уже в следующий миг меня пронзает мысль: один, один, я один. Не хочу, чтобы в моем доме завелось такое настырное, желающее мне, разумеется, только

добра существо с лицом Евы, чьи эсэмэски градом сыплются в мой мобильник. И я вспоминаю Ясмину, финал вчерашнего вернисажа, вызов полиции, санитаров с носилками, беспомощный взгляд госпожи Вилмы... Но все затмевает только одно – Ясмина. Бабуля Лилиана вглядывается в мое лицо с подозрением.

– Ты часом не влюбился?

– А что, так заметно? – Я и не собираюсь перед ней лукавить.

– И где вы познакомились? Вчера, что ли? Возле того трупа?

Я хохочу, выпрыгиваю из кровати, чуть не опрокинув чашку с кофе. Бабуля Лилиана не изменится никогда – ее ум, острее кухонного ножа, вскрывает любые ситуации, добывая из них сердцевину. Я обнимаю ее за плечи, чмокаю в увядшую щеку, подхожу к окну и распахиваю его настежь.

– И так себя вести после воспаления среднего уха! – Бабуля Лилиана на мгновение замолкает и затем добавляет: – Поверь ты мне, старой: забудь все и всех, кого вчера встретил! Нехорошо это – знакомиться при покойнике!

Объяснять ей, что мы познакомились еще до того, как Вольдемар стал трупом, бесполезно. Она покидает комнату, а я смотрю на Джерри. Пес скулит там внизу, у террасы, с которой еще не убран усыпанный осенними листьями стол. Сто раз просила меня бабуля Лилиана занести его в кладовку. Я закрываю окно и снова падаю на кровать. Ясмина. Есть

у нее кто-нибудь? Ясмина. Ясмина...

Меня будит телефонный звонок. На дисплее загорается имя – Ясмина. Набрал полные легкие воздуха, нажимаю кнопку.

– Привет! Это Ясмина. Я тебя разбудила? Сегодня взломали дверь у Майи. Она мертва. Положение о премии исчезло. Я вечером встречаюсь с твоей тетей у нее дома. Ты не мог бы прийти?

Мог бы, конечно. Приду. И тут же раздается новый звонок. Вежливый голос приглашает меня явиться в следственный отдел полиции в 15.00 и письменно дать свидетельские показания в связи с гибелью художника Вольдемара Стабиньша.

В кабинете следователя меня ждет сюрприз. Там за столом сидит мой однокурсник Альф. Старательный и исполнительный, он уже закончил учебу и теперь второй год отдувается в уголовном розыске. Он по-дружески протягивает мне руку, и мы вспоминаем про праздник Аристотеля, который отмечали первого сентября на первом курсе, – в тот раз я его и других студентов нашей группы после окончания праздничной церемонии в Старой Риге притащил к нам в Межапарк, в дом, который мы, основательно обкурившись, чуть не разнесли, после чего моя родительница, вернувшись из очередной командировки, решила, что мне нужно немедленно взять годичный академический отпуск. Она не была готова к столь основательному расширению моего кругозора путем

ликвидации стен ее же дома и уничтожения обстановки. Еще немного поулыбавшись, Альф приглаживает ладонью волосы, как будто придавая своему виду официальность, речь его становится монотонной – истинный бюрократ. Он аккуратно записывает мои свидетельские показания, особое внимание уделяя эпизоду с дверью, которая закрылась над лестницей сразу после падения гражданина Стабиньша.

– Ясное дело, кто-то был там, наверху, когда он начал свой стремительный полет. К тому же из обоих бокалов, которые он, согласно моему же свидетельству, унес туда, пили вино. Правда, от одного из них остались мелкие осколки, стеклянные брызги, с них даже отпечатки пальцев не снимешь. Вопрос в том, сам он упал или ему все-таки помогли. Но никто из опрошенных не признался, что был там, наверху! – И бесстрастную маску, за которой скрывается лицо Альфа, надламывает крайняя степень досады.

– И с премией этой тоже сплошной говнодел, скажу я тебе, – его тон снова становится непринужденным. – Пропало и Положение о премии. Сын старого Эрглера требует, чтобы было произведено вскрытие тела той дамочки, куратора. И все опять повесили на меня, и плакал мой отпуск. А я обещал жене свозить ее наконец на Сицилию...

Парень и впрямь выглядит несчастным. Видимо, начальство тоже высоко ценит его исполнительность и усердие. А высокая оценка усердия требует все новых и новых усилий для его доказательств.

Попрощавшись с ним, я выхожу на улицу и останавливаюсь у бордового «бентли», только что взятого напрокат – показываться перед Яминой на моей старой «хонде» было стыдно. Минут десять я соображаю, что же предпринять дальше, но решаю плюнуть на это все – какое мне дело, в конце-то концов, до всей этой художественной катавасии? Я еще заезжаю домой, чтобы переодеться в старые джинсы и куртку – во всем нужна мера, при такой машине перебор с одеждой был бы явным проколом стиля.

Трижды объехав квартал госпожи Вилмы, все-таки нахожу, где припарковаться. Выйдя из машины, направляюсь к автомату, чтобы оплатить стоянку, и застываю на месте. По улице прямо ко мне идет Ясмينا, но совсем другая Ясмина. Деловая, но элегантная, почему-то вся в черном и даже с портфелем. Она, увидев, как я бросаю талон на переднюю панель машины, усмехается. Хуже того: остановившись возле «бентли», начинает звонко смеяться.

– Похоже, все пажоны Риги сговорились катать меня на этом динозавре. У вас что, клуб любителей «бентли»? Даже номер подобрали специально с моим годом рождения. Кто же тычет женщине в глаза ее возрастом, могли бы из лукавства годик и сбросить!

Я бросаю взгляд на номер – JE1982. Сказать тут нечего. Но Ясмина моего ответа и не ждет. Она разворачивается и направляется к парадной госпожи Вилмы.

– Твоя вчерашняя «хонда» мне больше по вкусу. Это было

по крайней мере стильно!

И я, как наказанный хозяином пес с поджатым хвостом, плетусь за ней. Она, несмотря на весь вчерашний ужас, все-таки наблюдала за мной, если уж видела мою «хонду», я себя успокаиваю: значит, я ей тоже запал в сердце. Конечно, ощущение провала остается, но я извлекаю из него пользу, осознавая, что банальные маневры, такие как попытки покрасоваться, пустить пыль в глаза, с Ясминой не пройдут, остается только одна возможность – мой личностный рост.

Госпожа Вилма сама открывает нам дверь, ее лицо сохраняет невозмутимость – должно быть, она заметила нас вместе еще на улице из окна. Не проронив ни слова, она проходит через холл и распахивает следующую дверь. В гостиной за чашками дымящегося чая сидят все главные действующие лица вчерашней истории, вписанные в интерьер тетиной квартиры. И я внезапно осознаю, что по уши увяз в искусстве и ничего в моей жизни уже больше не будет как прежде.

– Андрей – мой племянник, – представляет меня госпожа Вилма.

Бородач, одетый на этот раз в свитер грубой вязки, стоит у окна и даже не оборачивается в нашу сторону. Остальные тоже не произносят ни слова. Седая дама, София, сидит в кресле. По соседству, точно ее тень, располагается вчерашняя бритоголовая особа. Я ограничиваюсь легким поклоном и занимаю клубное кресло возле стола. Ясмина остается стоять и оказывается лицом к лицу со всеми остальными как

незванный гость, так как госпожа Вилма ее не представляет, а просто уходит за новыми чашками. Но Ясмينا не теряется, а деловито кладет на стол свой черный портфель, извлекает оттуда пару листков и неожиданно звонко произносит:

– Нам придется познакомиться заново, так как я в настоящий момент оказалась единственным распорядителем фонда, основанного моим дедушкой... дедом... – Она смущается, но продолжает: – Я попрошу вас назвать свои настоящие имена и фамилии, потому что теперь обстоятельства изменились и о псевдонимах и кличках придется на время забыть. Я надеюсь, что в результате нашей встречи мы подпишем общее заявление.

Повисает пауза, во время которой становится слышно, как тикают настенные часы. Возвращается госпожа Вилма с двумя чашками, которые она ставит передо мной.

– Как я поняла, милочка, вы желаете ближе познакомиться со всеми? – госпожа Вилма подчеркнуто любезна. – Я сама сейчас представлю вам присутствующих. Сандро, свободный художник... – И она указывает рукой на серую фигуру. Человек этот сидит, втиснувшись в узкое пространство между массивным кожаным диваном и книжным стеллажом, упершись взглядом в одну точку. Услышав свое имя, свободный художник плотно сжимает губы и по-военному отдает честь, поднеся сложенные указательный и средний пальцы к виску.

– Сандро самолично воплотился здесь и сейчас и к убою

готов, – рапортует он.

– София, живописец, – госпожа Вилма жестом указывает на седую даму. Соседка той произносит неожиданно низким голосом, почти басом:

– Выдающийся живописец, вы забыли добавить! Кстати, меня зовут Хлоя. Я поэтесса.

В голосе госпожи Вилмы слышится нетерпение, она называет следующее имя:

– Гулбе!

– Мадара Гулбе, – отзывается дама, та, что накануне была одета в живописные лохмотья. Она привстает со своего места и чуть не опрокидывает чашку чая. Сегодня на ней строгое платье, а волосы закручены в тугий узел на затылке.

– Мадара Гулбе! – повторяет она еще громче. – Уж за столько-то лет могли бы и запомнить мое имя!

Из второго клубного кресла, которое начинает опасно скрипеть, раздаётся низкий голос, альт:

– Дана! Мое имя – Дана-де! – Вампирша, к вчерашнему образу которой прибавился ярко-красный платок, поднимается и делает шаг к Ясмине, протягивая ей руку. Но тут между ними вклинивается человек-бочонок.

– Эдуард! – он представляется сам, перехватывает ладонь Ясмینی и подносит к своим губам. – Барышня, с такой красотой не нужно заниматься финансовыми делами! Поручите это мужу или счастливым любовникам. Не стоит тратить юность, а тем более красоту на такую фигню!

Эдуард отпускает руку Ясины так же стремительно, как схватил, и подкатывается к столу, чтобы подлить себе чаю, в то время как Дана-де недовольно и даже обиженно отступает к своему креслу.

Госпожа Вилма поворачивается к Бородачу, продолжающему неотрывно смотреть в окно. Теперь она молчит, дожидаясь от него какого-то знака, разрешения к нему обратиться. Всеобщее преклонение перед его особой, которое я заметил еще вчера, сегодня меня уже раздражает.

– Я вам скажу, отличный барельеф, – произносит он наконец, махнув рукой за окно, и разворачивается лицом к присутствующим. – Меня зовут Александр! – Взгляд его буквально сверлит Ясину, потом неохотно переключается на меня, чтобы впоследствии остановиться на госпоже Вилме как на человеке, главном в этой ситуации. – Нас сюда вызвали. И может быть, уже пора наконец сказать, зачем?

Ясина, словно ее ожег удар плетью, начинает суетиться, заглядывает в бумаги, которые держит перед собой. Ее пальцы едва заметно дрожат.

– Отец... – покраснев, она сама себя поправляет: – Эрглер-младший сегодня потребовал провести расследование, чтобы выяснить причины внезапной смерти куратора проекта, госпожи Майи Карклы. Как единственный на этот час директор фонда я уполномочена вам сообщить, что присуждение премии откладывается на неопределенный срок, так как пропало и Положение о конкурсе. Собственно, это и есть

та информация, которую я была обязана вам предоставить. Хорошо было бы, если бы вы дали расписку в том, что вас об этом уведомили. – Ясмينا неловко кладет бумаги на стол и виновато улыбается, как бы приглашая художников поставить подписи.

Сандро, вместо того чтобы подписываться, начинает кружить по гостиной.

– Вы что, хотите убедить меня, что это самое Положение существовало в одном экземпляре? Но каким же образом основан фонд? Его ведь нужно было зарегистрировать как юридическое лицо?

– Мы обнаружили только Устав фонда с самыми общими фразами. Ничего конкретного! Полиция обыскала дом госпожи Майи, но ничего не нашла. Ни записки, ни клочка бумаги, который бы указывал на номинантов, не говоря уже об имени лауреата, – оправдывается Ясмينا.

– Но деньги, обещанная премия ведь целы? – в голосе Мадары проступает отчаяние. – Или их тоже украли?

– С деньгами все в порядке, они лежат в банке на счете! – заверяет Ясмينا.

Накалившуюся атмосферу в комнате сквозняком остужает ветерок облегчения, но воздух тут же сгущается снова, вот-вот разразится буря.

– Просто смешно. Кто-то ведь должен принять решение, и не может быть, чтобы абсолютно никто ничего не знал! – Дана-де вспыхивает, и взгляд ее перебегает с Ясмины на гос-

пожу Вилму, а красные губы делаются почти лиловыми.

– Отпей-ка лучше чайку! – подсказывает Эдуард и сам заботливо подливает кипяток в ее чашку. – Лично я посоветовал бы тянуть жребий или разделить премию по-братски на всех оставшихся прямо здесь и сейчас и закрыть тему! Иначе, так много думая о деньгах, и заболеть можно!

Все смотрят друг на друга, но тут же отводят взгляд и начинают блуждать глазами по комнате. Награда одному была бы целым капиталом, разделенные же на всех – это были бы лишь неплохие деньги. В свою очередь, чтобы согласиться на лотерею, большинству потребовалось бы найти в себе силы отказаться от перспективы получить всю сумму, и, кажется, никто, кроме Эдуарда, к такому повороту здесь не готов.

– Тогда тот, кому повезет, мог бы и с другими, ну, как бы сказать... поделиться, – жалобно, будто забрасывая спасительный круг, высказывается Мадара.

– Но послушайте, у такой значительной премии должен быть какой-то смысл, символ... – вступает в разговор Хлоя, ее взгляд теперь почему-то уперся в нос Ясины. – Кому-то из клана Эрглеров надо было бы иметь об этом хоть какое-то представление! Учредитель премии ведь не в вакууме жил. У него была семья, и наверняка если он кому-то и рассказывал о премии, то в первую очередь родным.

В этот момент просыпается мой мобильник, и я выхожу на кухню, в то время как голоса в гостиной госпожи Вилмы уже звучат в полную силу.

– Старушку отравили! – Альф обходится без всяких торжественных вступлений. – Какие-то сердечные капли, сильные сами по себе, к тому же лошадиную дозу ей подлили в чай. Ты ведь сейчас там вместе со всеми этими номинантами?

– Ну да, – я, сам не зная почему, вдруг снижаю голос, будто опасаясь, что меня подслушивают.

– Попроси их, чтобы завтра были у меня дать свидетельские показания. Мне нужны и их пальчики, чтобы сравнить с теми, которые обнаружены повсюду в квартире убитой. Я уже посмотрел – трое из них умудрились не зарегистрироваться по месту проживания. Ума не приложу, как это им удалось. Некуда послать повестку. Ну, до завтра, приходи и ты тоже. Надо кое-что обговорить.

– Ладно... – Мой взгляд отмечает, что за окном на асфальт падают и расплываются первые капли дождя. И вот они уже сплетаются в струю, и разражается ливень. Мощные струи со звоном разбиваются о карниз. Дверцы буфета распахнуты, на пыльных полках там, где стояли вынутые теперь чашки, обнаружили темные пятна. Я машинально выключаю газ под кипящим чайником.

С чайником в руке я возвращаюсь в гостиную, где громкие голоса уже успели перерасти в бурную жестикуляцию. Ясмينا смотрит на меня, и в ее взгляде я снова узнаю вчерашнюю испуганную девчушку. И слегка раздуваюсь от собственной важности:

– Всех присутствующих просят завтра явиться в уголовную полицию для дачи дополнительных показаний, дактилоскопии и всего прочего. Выяснилось, что куратор выставки, Майя, отравлена.

Ясмину вскрикивает, Дана-де хватается за руку Эдуарда, Мадара, как в плохой постановке, театрально падает в кресло, Сандро в растерянности начинает чесать подбородок, а лицо Александра становится каменным. София и Хлоя о чем-то шепчутся и, кажется, никого уже давно не слушают.

– Андрей, поставь ты наконец этот чайник, так и обжечься недолго! – Госпожа Вилма улыбается мне из клубного кресла, будто я объявил о приходе весны. Но тут же встает и подходит к письменному столу. Только теперь я замечаю, что под глазами у нее проступают синие круги.

– Думаю, все здесь люди взрослые и понимают: чего-то подобного и следовало ожидать. И если она отравлена, то должен быть и отравитель. – Госпожа Вилма на удивление спокойна и рассудительна.

– А что, если она сама? Сама отравилась? – голос Мадары почему-то становится совсем уж жалобным, как у попрошайки.

– Я вчера перед тем, как поехать на кладбище, – госпожа Вилма улыбается мне вновь, но на этот раз сочувственно, – заглянула к Майе. Не похоже, чтобы она собиралась умирать! Она примеряла кружевное платье. Черное, которое ей так идет, не так ли, Сандро? Как она тебе показалась? – Ее

взгляд обретает змеиную холодность: – Ты ведь был у нее?

Сандро, как пойманный с поличным вор, неловко усмехается.

– Да, я тебя тоже видел, но мне не хотелось разговаривать, поэтому я зашел в соседний магазинчик. – Помолчав, он добавляет: – Ну да, я хотел узнать, кому достанется премия. У меня тут рядом были кое-какие дела, вот и подумал: дай зайду, может, вечером мне и незачем идти на вернисаж, только без толку время терять. Но Майя решила сохранить интригу до конца и не сказала мне, кто лауреат. Однако, когда я ее покидал, Майя была жива и здорова. Правда, платье на ней действительно почему-то было черное, точно на похороны собралась. В таком возрасте с черным надо поосторожнее. Я сказал – пусть хотя бы пришпилит красную розу! И она нашла – точь-в-точь такую, как у Даны...

Все глаза обращаются к красной розе Даны-де, мятые шелковые лепестки которой она теперь пытается прикрыть таким же красным платком.

Но ей удастся быстро оправиться от смущения. Дана-де выпрямляется, поднимается во весь свой могучий рост, демонстративно открыв брошь-розу, ярко сверкнувшую в свете люстры.

– Не собираюсь отрицать – я была вчера у Майи по тому же поводу, что и вы все! И пусть только кто-нибудь попробует сказать, что перед открытием выставки его у Майи не было! А роза – моя! Моя! Я сама ее еще месяц назад пода-

рила Майе, но вчера она вернула мне брошь, сказав, что это не для ее возраста!

– Милочка, никто ведь не думает, что вы убили Майю из-за брошки, – в голосе госпожи Вилмы явно слышится насмешка.

Но Дана-де, оставив без внимания ее сарказм, стоит на своем:

– Вчера все там были!

И правда, лица собравшихся выдают, что они действительно накануне побывали у Майи. За исключением Ясмینی, которая после таких откровений выглядит растерянной и совсем напуганной.

– Когда я уходила, та серебряная змейка, что Вольдемар сжимал вчера в руке, была еще на печати. А печать стояла на письменном столе у Майи. Так что Вольдемар последним вчера был у нее! – не выдержав, неожиданно проговаривается Мадара.

Александр, за все это время не вымолвивший ни слова, вдруг поднимается и выходит из комнаты. Слышно, как за ним захлопывается дверь квартиры. На мгновение в комнате наступает тишина, столь глубокая, что тиканье часов кажется неуместно громким, как барабанный бой. Сандро кидается к окну, открывает его и, высунувшись по пояс наружу, кричит:

– Ты, воображала сраный, вернись сейчас же! Кинем жребий и прекратим тянуть эту волюнку, пока кто-нибудь из нас

не стал очередным трупом!

Госпожа Вилма медленно подходит к окну и, отодвинув Сандро, закрывает створки. Сохраняя молчание, она направляется к двери гостиной и, распахнув ее, встает на пороге, выразительно приглашая гостей покинуть дом. И это уже не какой-то прозрачный намек, а приказ хозяйки. Эдуард еще успеваает в последний момент схватить с тарелки печенюшку с той явной жадностью к жизни, какую демонстрировал на протяжении встречи, кидает ее в рот, словно завершая этим штрихом свой образ.

Гости один за другим направляются к выходу, я тоже. Но, когда я прохожу мимо госпожи Вилмы, она берет меня под руку, и в голосе ее снова звучит детская беспомощность:

– Останься-ка.

И я только успеваю заметить, как Ясмина, перед тем как закрыть за собой дверь, оглядывается и выжидающе смотрит на меня. Госпожа Вилма тщательно закрывает двери гостиной перед моим носом, и теперь я в западне. Подойдя к своему клубному креслу, она погружается в него, словно проваливается, как измученный человек проваливается в сон. Казалось, еще немного – и она совсем утонет в кресле, но в какой-то момент погружение все-таки прекращается.

– Я знала Майю больше пятидесяти лет! Ты представляешь, как это долго? Ты ее не помнишь? Она иногда приезжала к нам в Юрмалу. Оскару она не нравилась, но это... это уже другая история. Майя была старше меня. Мы познако-

мились с ней, когда поступали в Москве в художественный институт, нас, как землячек, поселили в общежитии в одной комнате. И после этого тридцать лет мы еще жили на одной улице! Все время рядом! Смотри! – И она вновь поднимается, вынырнув из трясины кресла, подходит к окну, рукой указывает на дом напротив: – Это окно, видишь? Там ее кабинет. Возле барельефа, первое окно слева.

Я тоже подхожу к окну, чтобы оценить лепнину, богато украшавшую дом напротив. Типичный рижский модерн. Но замечаю лишь Ясмину, дрожащую от холода возле моего красного «бентли». И снова оживляется мой мобильник, я в надежде услышать голос Ясины выскакиваю в прихожую. Но звонит всего лишь юрист, адвокат матери. Его голос вежливый, но достаточно строгий, без заискивания, это не предвещает ничего хорошего.

– Андрей, я, к сожалению, должен сообщить, что после удовлетворения требований кредиторов практически ничего не остается. Вашей матери в последнее время не везло, она произвела несколько неудачных вложений. Правда, есть еще дом в Межапарке, но он ведь, кажется, вам уже подарен? По поводу него тяжбы не будет...

Я обнаруживаю себя сидящим на столике в прихожей – почва уплыла из-под моих ног. Хотя мне тут же показалось, что я ожидал услышать нечто похожее все эти дни после смерти матери. Дом в Межапарке... Сразу вспомнилось: однажды мать повезла меня к другому адвокату – оформлять

дарственную на этот самый дом. Вспомнился и сам адвокат, седой и холодный, как вечность. Кажется, он рассчитывал и юридически оформлял каждое свое движение, каждое слово. Не человек, а воплощение закона и ответственности, нечто неумолимое и непреклонное. Помню, я тогда резко осознал: может быть, моя мать и позволяла многое своему «товарищу по работе», но до конца ему не доверяла. Когда дело коснулось того, что ей по-настоящему важно (а что может быть важнее крова над головой единственного ребенка?), она выбрала адвоката другого уровня. Так ведь было и с отцом, его непрактичность не помешала матери понимать, что именно тут – настоящее и подлинное. Несмотря на кажущуюся хаотичность и беспринципность, с судьбой она никогда не флиртовала и не заигрывала. Выйдя в тот день из адвокатской конторы, она меня спросила:

– Тебе что-нибудь говорит имя Салевич?

– Ну, я все-таки учусь на юрфаке, – я сделал вид, что чуть ли не обиделся. – Там это имя всем и каждому что-то да говорит. Едва ли не самый знаменитый адвокат Риги и самый таинственный тоже. Чувак почти не выступает в суде, но есть слушок, что он стоит за почти всеми важными решениями. По косвенным признакам я бы предположил, что он самый настоящий крестный отец мафии.

Во взгляде матери проступила усталость.

– Мальчишка ты, кина насмотрелся! Он дела так устраивает, что потом по судам ходить незачем. Во всяком случае,

это был он... – Мать резко оборвала разговор, и мы больше к этому не возвращались.

Итак, единственное, что мне осталось, – дарственная, заверенная тем самым Салевичем. «Мафиози». Если что, придется обращаться к нему. А у меня нет даже его телефона.

Маслянистый голос «товарища по работе» пресекает поток моих воспоминаний, вернув меня в квартиру госпожи Вилмы и в суровую реальность.

– Так что претензии кредиторов к этому дому, скорее всего, не последуют...

Поскольку я продолжаю молчать, он делает еще контрольный выстрел:

– С вашей-то стороны, надо думать, претензий тоже не последует?

Слова адвоката врезаются в мою голову пуля за пулей. А перед глазами дрожит какая-то розовая пелена, которая постепенно перекрашивается в темно-красное пятно, что я видел на фотографии у следователя с места убийства матери, а в ушах почему-то звучит сказанное матерью лет пять назад возле трапа самолета: «Тебе надо идти своей дорогой, в деловом смысле ты совсем не в меня».

– Конечно, – подтверждаю я. И кровавое пятно перед глазами растворяется. Масляный голос с нескрываемым облегчением подытоживает:

– Мы не сомневались, что вы хоть и человек молодой, но разумный... – И в трубке раздается прерывистый сигнал.

Я чувствую на лбу прохладную ладонь госпожи Вилмы и ухватываюсь за нее, как утопающий за соломинку. Лопнули все пузыри, все оказалось только пузырями. Пузырь премии, пузырь моей легкой... легкой жизни. Я любил пускать такие мыльные пузыри в детстве вместе с госпожой Вилмой, которая и теперь рядом со мной. И я начинаю возвращаться на землю.

Вот уже час я сижу в клубном кресле госпожи Вилмы. Она подливает мне чай, я выпиваю его и снова молчу. Вода вокруг меня смыкается и темнеет, я погружаюсь все глубже и глубже, и тут меня пронзает откровение: кислородного баллона со мной нет. Фобия, мучившая меня, когда я только начал нырять. Я собираюсь с силами, возвращаюсь, чувствуя себя выжатым как лимон. Госпожа Вилма делает вид, что не замечает, как я беспомощно барахтаюсь и хватаю ртом воздух. Она подходит к тому самому несчастному окну, затем оборачивается ко мне и улыбается.

– Гол как сокол?

– Да. Похоже, они меня кинули... – Сам удивляюсь, каким твердым и низким голосом, почти басом я это произношу. – Правда, у меня еще остается дом в Межапарке.

– Попробуй увидеть во всем и хорошую сторону. Если бы она тебя втянула во все это, ты, возможно, лежал бы теперь в могиле рядом с ней. А так ты жив, молод, и к тому же у тебя есть дом! Это большое богатство. Как мать при жизни она не сумела дать тебе главного – хорошего воспитания, что

было необходимо, она не создавала необходимых и посильных трудностей. Зато ее смерть подарит тебе их с лихвой. Из пуховой постельки без какой-либо подготовки прямо в пропасть. Вот уж истинно славянская душа!

Я толком не понимаю – комплимент это моей матери или упрек, однако высвобождаюсь из объятий клубного кресла и направляюсь к дверям, но госпожа Вилма опять успевает схватить меня под руку.

– И что ты собираешься делать?

– Что? А вот разберусь с этой чертовой алхимией. С вашими художественными смертями.

Госпожа Вилма вздрагивает и с неприязнью спрашивает:

– Это из-за нее? – и в голосе тети я слышу нотку материнской ревности, которая моей-то матери была как раз несвоей, но которую я не раз наблюдал со стороны родителей моих друзей по отношению к их избранницам.

– Нет, из-за себя! Я все-таки юрист. Последний академический отпуск, помнится, я взял как раз во время практики, а теперь я ее пройду.

Госпожа Вилма затихает, а меня начинает нести.

– Не вы ли с дядей Оскаром учили меня в детстве, что по-настоящему твое – только то, что делаешь бескорыстно? Я хочу найти того, кто все это сотворил. Кто сегодня, в двадцать первом веке, заявляется в гости, чтобы подсыпать отраву в чай хозяйки, кто сталкивает с лестницы конкурента, а затем мирно водит кистью по холсту или обжигает фар-

фор! Хочу вывести на чистую воду хотя бы одного негодяя, и заметь – из уважения к нему! УВАЖЕНИЯ! Вместо того, чтобы искать и объясняться с кретинами, которые, сидя за компьютером, гоняют и переводят сумму за суммой и, доведя ее до шестизначной, кончают себе в кулак, чтобы потом подослать к моей матери киллера из стрелялок, которого потом тоже прикончат где-нибудь в пабе во время просмотра футбольного матча с пивной кружкой в руке! И я никогда не смогу доказать связь между этими кретинами и этим пьянчугой, потому что у меня за спиной не стоит сеть хакеров и шпионов! Никогда!!! И все, что мне остается, так это принять христианство и надеяться на Божью кару, ведь я не имею права обвинять в смерти только на почве полученной выгоды. При таком простом раскладе мне бы надо было казнить себя первым – я, как ни крути, получил домик в Межапарке.

Выпалив все это, я выхожу за дверь. Госпожа Вилма кидается вслед за мной и беспомощно останавливается на лестничной площадке. Я шагаю вниз – не ждать же мне ее жалости. Спустившись на полэтажа, слышу, как она зовет меня. Перегнувшись через перила, она заявляет:

– Андрей, я... Я заказываю тебе это расследование. Как детективу.

Мне хотелось бы по-пацански ей нагрубить и покончить с этими тонкостями отношений навсегда, но лицо госпожи Вилмы выражает такое волнение и искреннюю озабоченность, что я опять поддаюсь ее очарованию и по-детски

сломленным голосом произношу:

– Спасибо!

– У тебя есть главное, что нужно в расследовании, – уважение к презумпции невиновности!

Я больше не могу ничего произнести, иначе расплачусь, как ребенок, только киваю головой и продолжаю спускаться по винтовой лестнице, постепенно успокаиваясь. В конце концов, у меня есть бабуля Лилиана. У меня есть Джерри. И это уже кое-что. Особенно учитывая, что на мой банковский счет на Кипре в день смерти матери поступили от какой-то там очередной *Limited* 108 тысяч евро. Сто восемь – несколько странная сумма. Моя мать не была ясновидящей и, по мнению госпожи Вилмы, не слишком задумывалась о воспитании сына, об ожидающих меня безднах. Зато она как честная женщина знала с точностью, что за все в жизни надо платить.

108

шагов

Это произошло январским утром во время школьных каникул, когда меня отпустили в гости к однокласснику в Юрмалу. Не знаю, какая муха меня укусила, но, проснувшись ранним утром в чужом доме, я тихо собрался и, не став никого будить, направился к железнодорожной станции, откуда в неотопливаемом, промерзшем вагоне уехал домой. Когда я зашел в переднюю нашей квартиры, первым, что я заметил, были мужские зимние ботинки 43-го размера, каких в нашем

доме после смерти отца не бывало. Мой взгляд замер на катышках шерстяной отделки внутри ботинок, наверное, я так простоял довольно долго, пока удивленный возглас бабули Лилианы не пронзил утреннюю дремоту нашей квартиры:

– Солнышко, ты почему так рано?

Но я, не слушая ее, опрометью бросился в спальню матери, где мой взгляд опять уперся в раскиданную повсюду мужскую одежду. Мать в постели была одна, но я отчетливо слышал, что в ванной комнате рядом льется вода. Я машинально собрал все эти чужеродные для меня предметы – брюки, рубашку, галстук – и, распахнув окно, вышвырнул их на проезжаю часть улицы – в то время мы еще жили в центре города. Я с наслаждением смотрел, как одежда медленно надувается, словно паруса, и достигает земли, а рубашка расплывается на проезжающих внизу «жигулях». Доехав до перекрестка, водитель остановился на светофоре, выскочил из машины и, потрясая кулаками в мою сторону, сорвал рубашку с дворников и кинул в месиво, в которое неизбежно в городе превращался даже самый белый снег. Я и теперь помню то глубокое наслаждение, какое охватило меня, когда я наблюдал, как несомненно дорогая импортная рубашка превратилась в обыкновенную тряпку. В часть уличной грязи. Тогда я закрыл окно и повернулся к матери, которая уже встала с кровати и надела шелковый халат. Она смотрела мне прямо в лицо с неподдельным удивлением:

– Хочешь стать вожаком стаи? – в ее голосе зазвенела от-

кровенная насмешка. – Но это надо заслужить.

И она, сунув мне в руку ключи от своей машины, почти вытолкнула меня из квартиры.

– Я буду через 15 минут, жди меня в машине!

И она действительно через пятнадцать минут пришла, села на водительское сиденье и, взяв ключ, который я ей молча протянул, завела мотор. Когда мы уже проехали квартала три, она наконец заговорила:

– Драться с ним действительно было бы тупо, вы пока еще в слишком разных весовых категориях. Но ты мой сын, и мне надо дать тебе возможность.

На следующем перекрестке она достала из своей сумочки черный платок, который был на ней в день похорон отца, и протянула мне.

– Завязывай глаза! – приказала, и я подчинился. Надо отметить, что она проверила, плотно ли я их закрыл, несмотря на то что машины сзади уже оглушали нас гудками нетерпения, ведь мы остановились на перекрестке оживленной улицы и мешали движению.

– Если ты пройдешь 108 шагов с завязанными глазами, останешься в нашем доме единственным... мужчиной.

И машина тронулась с места, дальше мы ехали в молчании, только играло радио, и я запомнил, как диктор хорошо поставленным голосом сообщал о грядущем съезде КПСС. Через некоторое время мать остановила машину, выключила мотор, вышла и, открыв мне дверь, предложила:

– Теперь пройди 108 шагов куда хочешь! Если ты это сделаешь, то докажешь, что достоин занимать место мужчины, если нет и сорвешь повязку, то ты только того и стоишь, что тех тряпок, которые вышвырнул в окно.

Я осторожно сделал первые шаги, громко отсчитывая, но про себя решив, что моя мать как была, так и осталась лишь полудикой дочерью сибирского золотоискателя. Через пять шагов я поскользнулся и съехал куда-то вниз, а поднявшись на ноги, очутился на совершенно ровной поверхности. Воспрянув духом, я смело прошагал еще сорок шагов.

– Уже почти половина? – но мать на мой вопрос ничего не ответила, и меня охватил ужас от такой отстраненности. Но я себя успокоил тем, что молчание, наверное, тоже часть испытания. Еще через двадцать шагов я почувствовал, как у меня под ногами трескается лед, и от испуга бросился бежать, но тут же как вкопанный остановился – ветер, продувавший куртку и обжигавший щеки, явно был над водоемом, потому что так разбежаться на суше в наших местах он не сможет. И меня опять охватил ужас – разве моя мать могла поступить так жестоко, допустить, чтобы я утонул? И сам себе ответил: да.

– Ты пробежал тридцать шагов, тебе осталось еще восемь, – произнесла мать совсем рядом, и я сразу успокоился. Хоть и невидимая, она постоянно находилась поблизости. И я решил пройти остаток по кругу, ведь мне было сказано, что я могу идти куда хочу. Но когда я, счастливый, выдержав

испытание, сорвал повязку, у меня задрожали колени – мои последние шаги были вокруг проруби. Мы с матерью стояли посередине замерзшего Киш-озера. Я, словно зачарованный, не мог отвести взгляд от черной глади проруби – пойдешь прямо, несомненно туда провалился бы.

– Ты выбрал самый опасный путь из всех возможных. Ты мог идти по лесу и в худшем случае набить пару шишек о сосны Межапарка, но ты вышел на лед. Более того, ты нашел эту прорубь, но в последний момент не свалился в нее. Очевидно, что у тебя способность выбрать самое опасное, оказаться на краю гибели, но в последний момент чудесным образом спастись. И это уже судьба.

Больше мать в тот день ничего не говорила. Мы никогда об этом не вспоминали. Все растаяло, словно сон, но с тех пор я уже не мог попасть в ту страну, где купался во всепрощающей материнской любви, в страну, где тебе рады без условий.

Однако надо признать и то, что мужские ботинки в нашем доме всегда теперь были только мои. Свою личную жизнь мать устраивала вне дома. Я свои права быть главой отстаивал.

Теперь, когда я думаю о ста восьми тысячах, которые упали на мой кипрский счет, меня охватывает тот самый ужас, какой я испытал, когда увидел черный глаз проруби. Я знаю, что не протяну руку, чтобы просто взять эти деньги. И только теперь осознаю, насколько глубоко сидит во мне этот страх. Кроме совпадения чисел меня настораживало еще одно об-

стоятельство, иного рода, почти техническое, но не менее важное – деньги на мой счет упали через день после смерти матери и, возможно, причина – в задержке перевода в самом банке, но, возможно, что перевод сделал кто-то другой... и у меня не было точного ответа, поэтому, увидев сумму на своем счете в личном кабинете, я больше в него с домашнего айпи-адреса не заглядывал. У любых крупных денег есть высоковольтное напряжение, и надо четко знать, какой требуется изоляционный материал, чтобы к ним прикасаться. Материал, который позволит их взять и остаться живым. И я должен выждать, прежде чем прикоснуться к деньгам, потому что, возможно, они мне подброшены как наживка. Козленок, которого охотники привязывают к дереву, чтобы выманить из джунглей тигра. И если я не хочу стать добычей, мне надо затаиться поблизости и ждать, потому что проиграет тот, кто первым обнаружит себя и выдаст, возможно, какой-нибудь незначительной мелочью, что знает о существовании денег. Не говоря уже о том, что это была единственная ниточка, которая могла привести к разгадке тайны убийства матери. Единственная. И все, что мне оставалось, – молчать и ждать. Когда у тебя завязаны глаза, шаги надо делать очень осторожно, если вообще делать.

П

ролом

Выйдя на улицу, я подхожу к арендованному «бентли». Невольно улыбаюсь, не без горечи. Ясмина. «Бентли». Все

это было в другой жизни. Так давно, что и не вспомнить. Все, что занимало меня в последние годы, осталось там наверху, в клубном кресле госпожи Вилмы. У меня вдруг всплывает воспоминание об остром чувстве изгнания, которое я испытал однажды в детстве, когда после хоккейного матча вся команда объявила мне бойкот – я пропустил в ворота роковую шайбу, не позволившую нам стать чемпионами. Сплоченность в Риге носила особый характер. Это я тоже тогда усвоил на всю оставшуюся жизнь. Здесь с тобой делили только удачи, горести каждый проживал в одиночестве. Такая устремленность к блеску и лоску, осознание того, что отношения держатся только на успехе, очень быстро перенаправило меня в русло обособленности, от чего я так и не сумел избавиться. Правда, я потом познал и иной род товарищества – в содружестве дайверов рисковать жизнью ради другого было само собой разумеющимся, – но все же детская травма навсегда избавила меня от желания рассчитывать на окружающих. Даже когда ты сам сделал для них все, что мог, и больше. Всегда оставаться один на один с бедой – вот судьба человека, выросшего в Риге. И вот эта судьба вновь настигла меня под окнами госпожи Вилмы.

Я съезживаюсь под порывом холодного ветра. Обхожу машину – к счастью, ничего не поцарапано – и опять безрадостно ухмыляюсь: что-то новенькое, прямо на глазах становлюсь бережливым. И расчетливым? Не получится ли так, что вскоре затоскую по простым человеческим чувствам? По

тем, что возвращаются в троллейбусах и коммуналках? Я чувствую легкий укол, словно иголкой: как раз эту роскошь я теперь не могу себе позволить. Не могу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.